



*Героям Советского Космоса*



# 1

Омон — имя не особо частое и, может, не самое лучшее, какое бывает. Меня так назвал отец, который всю свою жизнь проработал в милиции и хотел, чтобы я тоже стал милиционером.

— Пойми, Омка, — часто говорил он мне, выпив, — пойдешь в милицию — так с таким именем, да еще если в партию вступишь...

Хоть отцу и приходилось иногда стрелять в людей, он был человек незлой души, по природе веселый и отзывчивый. Меня он очень любил и надеялся, что хотя бы мне удастся то, что не удалось в жизни ему. А хотел он получить участок земли под Москвой и начать выращивать на нем свеклу и огурцы — не для того, чтобы продавать их на рынке или съесть, хотя и это все тоже, а для того, чтобы, раздевшись до пояса, ру-

бить лопатой землю, смотреть, как шевелятся красные черви и другая подземная жизнь, чтобы возить через весь дачный поселок тачки с навозом, останавливаясь у чужих калиток побалагурить. Когда он понял, что ничего из этого у него не выйдет, он стал надеяться, что счастливую жизнь проживет хотя бы один из братьев Кривомазовых (мой старший брат Овир, которого отец хотел сделать дипломатом, умер от менингита в четвертом классе, и я помню только, что на лбу у него была продолговатая большая родинка).

Мне отцовские планы на мой счет особого доверия не внушали — ведь сам он был партийный, имя у него было хорошее — Матвей, но все, что он себе выслужил, это нищую пенсию да одинокое старческое пьянство.

Маму я помню плохо. Осталось в памяти только одно воспоминание — как пьяный папа в форме пытается вытянуть из кобуры пистолет, а она, простоволосая и вся в слезах, хватает его за руки и кричит:

— Матвей, опомнись!

Она умерла, когда я был совсем маленьким, и я вырос у тетки, а отца навещал по

выходным. Обычно он был опухший и красный, с косо висящим на засаленной пижамной куртке орденом, которым он очень гордился. В комнате у него нехорошо пахло, а на стене висела репродукция фрески Микеланджело «Сотворение мира», где над лежащим на спине Адамом парит бородатый Бог, простерший свою длань навстречу тонкой человеческой руке. Эта картинка довольно странно действовала на душу отца и, видно, что-то ему напоминала из прошлого. У него в комнате я обычно сидел на полу и играл с маленькой железной дорогой, а он храпел на раздвинутом диване. Иногда он просыпался, некоторое время щурил на меня глаза, а потом, опершись о пол, свешивался с дивана и протягивал мне большую венистую кисть, которую я должен был пожать.

— Фамилия твоя как? — спрашивал он.

— Кривомазов, — отвечал я, поддельная застенчивую улыбку, и он гладил меня по голове и кормил конфетами; все это выходило у него так механически, что мне даже не было противно.

О тетке мне сказать почти нечего — она была ко мне равнодушна и старалась,

чтобы я больше времени проводил в разных пионерлагерях и группах продленного дня — кстати сказать, удивительную красоту последнего словосочетания я вижу только сейчас.

Из своего детства я запомнил только то, что было связано, так сказать, с мечтой о небе. Конечно, не с этого началась моя жизнь — еще раньше была длинная светлая комната, полная других детей и больших пластмассовых кубиков, беспорядочно разбросанных по полу; были обледенелые ступени деревянной горки, по которым я торопливо топал вверх; были какие-то потрескавшиеся юные горнисты из крашеного гипса во дворе и много другого. Но вряд ли можно сказать, что все это видел я: в раннем детстве (как, быть может, и после смерти) человек идет сразу во все стороны, поэтому можно считать, что его еще нет; личность возникает позже, когда появляется привязанность к какому-то одному направлению.

Я жил недалеко от кинотеатра «Космос». Над нашим районом господствовала металлическая ракета, стоящая на сужающемся столбе титанового дыма, похожем на вот-

кнутый в землю огромный ятаган. Странно, но как личность я начался не с этой ракеты, а с деревянного самолета на детской площадке у своего дома. Это был не совсем самолет, а скорее домик с двумя окошками, к которому во время ремонта прибили сделанные из досок снесенного забора крылья и хвост, покрыли все это зеленой краской и украсили несколькими большими рыжими звездами. Внутри могло поместиться человека два-три, и еще был небольшой чердачок с глядящим на военкоматовскую стену треугольным окошком — по негласному дворовому соглашению этот чердачок считался пилотской кабиной, и когда самолет сбивали, сначала выпрыгивали те, кто сидел в фюзеляже, и только потом, когда земля уже с ревом неслась к окнам, пилот мог последовать за остальными — если, конечно, успевал. Я всегда старался оказаться пилотом и даже овладел умением видеть небо с облаками и плывущую внизу землю на месте кирпичной стены военкомата, из окон которого безысходно глядели волосатые фиалки и пыльные кактусы.

Я очень любил фильмы про летчиков; с одним из таких фильмов и было связано



сильнейшее переживание моего детства. Однажды, в космически черный декабрьский вечер, я включил теткин телевизор и увидел на его экране покачивающийся крыльями самолет с пиковым тузом и крестом на фюзеляже. Я наклонился ближе к экрану, и на нем сразу же возник увеличенный фонарь кабины: за его толстыми стеклами улыбалось нечеловеческое лицо в очках вроде горнолыжных и в шлеме с блестящими эбонитовыми наушниками. Пилот поднял ладонь в перчатке с черным раструбом и помахал мне рукой. Потом на экране появился фюзеляж другого самолета, снятый изнутри: за двумя одинаковыми штурвалами сидели два летчика в полшубках и внимательно следили сквозь перехваченный стальными полосами плексиглас за эволюциями вражеского истребителя, летевшего совсем рядом.

— «Ме-сто девять», — сказал один летчик другому. — Сажать будут.

Другой, с красивым испитым лицом, кивнул головой.

— Зла на тебя не держу, — сказал он, видимо продолжая прерванный разговор. — Но

запомни: чтоб у тебя это с Варей было на всю жизнь... До могилы.

Тут я перестал воспринимать происходящее на экране — меня поразила одна мысль, даже не мысль, а ее слабо осознанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей головой и задела ее лишь своим краем), — о том, что если я только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из кабины, где сидели два летчика в полушубках, то ничто не мешает мне попадать в эту и любую другую кабину без всякого телевизора, потому что полет сводится к набору ощущений, главные из которых я давно уже научился подделывать, сидя на чердаке краснозвездной крылатой избушки, глядя на заменяющую небо военкоматовскую стену и тихо гудя ртом.

Это неясное понимание так потрясло меня, что остаток фильма я досмотрел не очень внимательно, включаясь в телевизионную реальность только при появлении на экране дымных трасс или набегающего ряда стоящих на земле вражеских самолетов. «Значит, — думал я, — можно глядеть из самого себя, как из самолета, и вообще не

важно, откуда глядишь, важно, что при этом видишь...» С тех пор, бредя по какой-нибудь зимней улице, я часто представлял себе, что лечу в самолете над заснеженным полем; поворачивая, я наклонял голову, и мир послушно кренился вправо или влево.

И все же тот человек, которого я с полной уверенностью мог бы назвать собой, сложился позже и постепенно. Первым проблемом своей настоящей личности я считаю ту секунду, когда я понял, что кроме тонкой голубой пленки неба можно стремиться еще и в бездонную черноту космоса. Это произошло в ту же зиму, вечером, когда я гулял по ВДНХ. Я шел по пустой и темной заснеженной аллее; вдруг слева донеслось жужжание, похожее на звонок огромного телефона. Я повернулся и увидел *его*.

Откинувшись назад и сидя в пустоте, как в кресле, он медленно плыл вперед, и за ним так же медленно распрямлялись в пространстве шланги. Стекло его шлема было черным, и только треугольный блик горел на нем, но я знал, что он видит меня. Возможно, уже несколько веков он был мертв. Его руки были уверенно протянуты к звездам, а ноги до та-

кой степени не нуждались ни в какой опоре, что я понял раз и на всю жизнь, что подлинную свободу человеку может дать только невесомость — поэтому, кстати, такую скуку вызывали у меня всю жизнь западные радиоголоса и сочинения разных солженицыных; в душе я, конечно, испытывал омерзение к государству, невнятные, но грозные требования которого заставляли любую, даже на несколько секунд возникающую группу людей старательно подражать самому похабному из ее членов, — но, поняв, что мира и свободы на Земле не достичь, духом я устремился ввысь, и все, чего потребовал выбранный мною путь, уже не вступало ни в какие противоречия с моей совестью, потому что совесть звала меня в космос и мало интересовалась происходящим на Земле.

Передо мной была просто освещенная прожектором мозаика на стене павильона, изображавшая космонавта в открытом космосе, но она за один миг сказала мне больше, чем десятки книг, которые я прочел к этому дню. Я смотрел на нее долго-долго, а потом вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на меня.